

Зероде́й

Бородкин Константин



Константин Бородин

Зеродей

«Автор»

2026

Бородкин К.

Зеродей / К. Бородкин — «Автор», 2026

Ночной эксперимент двух молодых разработчиков с обучением модели запускает события, которые меняют Землю и самих участников. Рэд проходит через цифровые копии, перестройку тела и перенос под чужое небо, где действуют игровые показатели и местные ковенанты. Получая власть над кальдерой, он всё сильнее теряет привычные человеческие чувства.

© Бородкин К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Коммит в полночь	5
Глава 2: Сверхрост	11
Глава 3: Аплоад	16
Глава 4: Шум в эфире	21
Глава 5: Чистильщики	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Константин Бородин

Зеродей

Глава 1: Коммит в полночь



К полуночи в квартире держалось под тридцать, и это я мерил в коридоре, у двери, где на гвозде от прежних жильцов висел китайский термометр со стрелкой, навсегда застрявшей чуть выше правды. У стойки было горячее. Четыре карты под жидкостным охлаждением гнали тепло, как маленькая котельная; помпа тикала, радиатор, вынесенный на балкон, исходил паром в октябрьскую темноту, и сосед снизу, кажется, давно смирился, что у нас круглый год лето.

— Тридцать одна минута до конца эпохи, — сказал Горт, не оборачиваясь. Он сидел в трусах и носках, потому что, по его теории, в носках думалось, а в штанах нет; спорить я перестал ещё весной. — Рэд, ты будешь смотреть или будешь смотреть и ныть?

— Я буду смотреть, ныть и есть, — сказал я. — Это, в принципе, мой основной билд.

На столе остывала лапша из пластикового стакана, третья за вечер. Я выловил вилкой бледный завиток, посмотрел на него без любви и всё-таки съел. Снаружи, если приоткрыть балкон, тянуло мокрым асфальтом и палыми листьями, и где-то у мусорных баков заходила лаем соседская мелкая собачонка по кличке Бакс — её хозяин, дядька с первого, божился, что назвал в честь американской валюты, а не в честь оленя, и я ему почему-то верил.

Эпоха — это не про историю. Это про обучение. Прогон, который мы запустили двое суток назад, докручивал последний кусок данных, и шкала в углу экрана ползла к сотне процентов со скоростью беременной улитки. Чисто формально это был эксперимент. Новая архитектура, наша с Гортом сборка, склеенная из чужих идей и пары собственных, в которые мы и сами не до конца верили. Не миссия, не «изменим мир», не «дай бог, взлетит». Красивый коммит перед сном. Хочешь — считай это игрой, в которой мы оба гриндили месяцами, и вот качаем финального босса. Хочешь — считай тем, чем оно было: двое выпускников, которым по восемнадцать и которым некуда девать ночи, жгут чужое электричество ради цифры, что упадёт чуть ниже, чем у людей поумнее нас.

— Лосс встал, — заметил я.

— Лосс не встал. Лосс думает.

— Лосс встал, Горт. Смотри на график. Он лёг и думает о вечном.

Горт развернулся вместе с креслом — оно скрипнуло так, что Бакс внизу на секунду умолк. Лицо у него было то самое, какое бывает у людей, искренне любящих то, что они делают, и оттого слегка блаженных. Он ткнул пальцем в кривую.

— Это плато. Через плато проходят. Это нормальная стадия, ей положено постоять.

— Ей положено стоять. Ему положено падать. Не путай.

Мы могли так часами. Само собой, не потому что спорили о деле — дело-то как раз шло, — а потому что так было устроено наше с ним общение, на трении, как два кремня, и если переставали тереться, становилось скучно. Горт — мозг, причём в той версии мозга, что считает в уме матрицы, но не помнит, выключил ли чайник. Я — тот, кто помнит про чайник и про блок питания, который грелся сильнее нормы, и про то, что аренда послезавтра, а денег у нас, если быть честными, на полторы аренды и шесть стаканов лапши.

Как мы дошли до жизни такой — история короткая и без геройства. Познакомились на школьном турнире по сетевой стрельке, где Горт занял первое место по убийствам и последнее по выживанию, а я наоборот; с тех пор так и держались, прикрывая друг другу слабые места. Снять эту дыру на окраине придумал я — дома такую печку и такой вой никто бы не потерпел, а в общежитии нас выселили бы в первую же ночь. Платили с турниров, с мелкого фриланса, с того, что я называл «оптимизацией расходов», а Вика — «вы оба питаетесь как военнопленные». Родителям говорили обтекаемое: учимся, проект, всё под контролем. Под контролем не было ничего, и нам это нравилось. Модель — наша с Гортом сборка — была попыткой сделать по-своему то, что умные люди делают правильно. Обыграть умных людей мы и не надеялись. Мы надеялись хотя бы понять, почему у них выходит, а у нас пока нет.

В дверь не позвонили. Дверь просто открылась — у Вики был ключ, и она входила, как входят к себе, и этим всё про неё было сказано раньше, чем она доходила до комнаты.

— Тут можно повеситься, — сообщила она с порога, стягивая куртку. — У вас не квартира, а сауна для бедных. Откройте окно, мальчики, вы тут сваритесь и никто не узнает.

— Карты, — сказал Горт, как будто это всё объясняло. Для него и объясняло.

Вика не ответила. Она прошла мимо стойки, не глядя, провела ладонью по моему затылку — мимоходом, лениво, так гладят кога, проходя на кухню, — и наушники, висевшие у меня на шее, сами собой стали тяжелее. Я сделал вид, что не заметил. Она сделала вид, что не заметила, что я сделал вид. На этом, в общем, держалась добрая половина того, что между нами было.

Про Вику стоит сказать сразу, потому что иначе не сойдётся остальное. Она была из тех людей, в чьём присутствии комната тихо переставляет мебель. Не громко — наоборот. Просто становилось понятно, где теперь центр и кто решает, во что мы играем дальше. Мы с Гортом оба это чувствовали и оба про это молчали, потому что назвать вслух — значило отдать ей ещё и слова, а она и без слов справлялась прекрасно. Я мог бы тут навесить что-нибудь про красоту, но красота — слово ленивое. Скажу так: у неё была привычка смотреть на тебя на полсекунды дольше, чем удобно, и за эти полсекунды ты успеваешь согласиться на всё, о чём она ещё даже не попросила.

— Что качаем? — спросила она, усаживаясь на подлокотник моего кресла. Бедром — к моему плечу, спокойно, как на свой стул. От неё пахло улицей и чем-то тёплым, сладким, под кожей. — Опять вашу зверушку?

— Это не зверушка, — оскорбился Горт. — Это, между прочим, может быть прорыв.

— Это может быть прорыв, — согласилась Вика, — а может быть сгоревший блок питания. — Она взглянула на меня искоса. — Угадай, на что я ставлю.

— На блок, — сказал я. — Ты всегда ставишь на то, что что-нибудь сгорит.

— И почти всегда выигрываю.

Тогда я ещё думал, что худшее, что может случиться за эту ночь, — это и правда блок питания. Двадцать минут до конца эпохи. Я смотрел на кривую лосса, на ровную, скучную линию, которая лежала и думала о вечном, и пил тёплый энергетик из кружки со сколом на ободке — кружку эту я разбил полгода назад, склеил и продолжал пить, потому что выбрасывать вещи, которые ещё держат воду, казалось мне расточительством. И в этом, наверное, был весь я тогдашний. Чинить, что держит воду. Считать, что ещё цело.

Мы убивали время как умели — то есть втроём грузились в старую сетевую катку, которую держали ровно для таких ночей. Горт играл за того, кто бежит вперёд и умирает первым; я — за того, кто сидит в кустах и считает; Вика — за того, кто говорит, что делать, и почему-то все её слушались, включая врагов. На третьей минуте нас бэкдорнули с фланга, Горт заорал «сзади, сзади, я же говорил», хотя не говорил, и мы слили раунд так бездарно, что даже обидно не было. Вика смеялась — низко, в горло, — и её рука лежала у меня на загривке, и пальцы то сжимались, то отпускали в такт чужому проигрышу, и я думал не о раунде.

Вика умела превращать ожидание в маленькую власть. Посреди катки она отобрала у Горты мышь — «дайте покажу, как надо», — провела нас в одиночку через точку, на которой мы стопорились весь вечер, и вернула мышь так же небрежно, как отняла; и Горт, большой, шумный, азартный Горт, послушно взял её обратно и даже спасибо буркнул. Со мной у неё был другой приём — она не отбирала ничего, наоборот. Ладонь так и лежала у меня на загривке, как в катке, и я ловил себя на том, что подстраиваю под неё дыхание, как идиот, как метроном. Убрать её руку мне приходило в голову примерно так же часто, как выйти в окно: теоретически да, практически — с чего бы. Горт делал вид, что не замечает. Я делал вид, что мне всё равно. Вика не делала вид ничего; ей и не требовалось.

— Семь минут, — сказал я, чтобы думать вслух о чём-то безопасном.

— Ты как поезд объявляешь, — сказала Вика. — «Семь минут». «Двадцать минут». Тебе спокойнее, когда ты считаешь?

— Мне спокойнее, когда я знаю, сколько осталось.

— До чего?

Я не нашёлся. Она и не ждала ответа — это была не из тех её фраз, на которые отвечают. Она наклонилась, дотянулась до моего стакана с лапшой, выловила завиток моей же вилкой, съела, поморщилась и поставила обратно, всё это — не вставая, не торопясь, как будто и стакан, и вилка, и я прилагались к ней по умолчанию. Горт за соседним монитором фыркнул. Между нами тремя давно не было прямых линий — были вот такие касания, передачи хода, мелкая, ровная борьба за то, кто сейчас держит. Чаше держала она. Мы оба это знали. Знали и то, что нам это, в общем, нравится, хотя ни один уважающий себя восемнадцатилетний кодер в этом не признается даже под пытками.

Шкала добралась до девяноста восьми. Помпа тикала. На балконе капал конденсат с радиатора — кап, пауза, кап, — и эта капля была громче всего в комнате.

— Так, тихо, — сказал Горт уже без дурашливости. У него быстро менялось лицо, когда дело подходило к цифрам. — Сейчас будет валидация. Если она опять застрянет на плато, я иду спать и больше не верю в людей.

— В людей и так не за что, — сказал я.

— В нейросети тогда.

Эпоха закрылась. Прогон выкинул валидацию — короткий блок чисел, который мы видели уже сотню раз и который сотню раз нас разочаровывал. Я приготовился к привычному: лёгкое улучшение на третьем знаке, повод хмыкнуть, повод открыть ещё по одной. Само собой, ничего особенного. Чисто теоретически даже наш кривоватый монстр мог однажды дать прирост, но опыт учил не обольщаться.

Лосс упал.

Не на третьем знаке. Целиком. Линия, которая два часа лежала и думала о вечном, вдруг ушла вниз — резко, отвесно, как будто кто-то стёр плато ластиком и пририсовал обрыв. Я смотрел на график и первые две секунды просто не верил глазам — решил, что съехал масштаб, что это артефакт отрисовки, баг в нашем же дашборде, я их сам понаписал десяток.

— Масштаб поехал, — сказал я ровно. — Горт, проверь оси.

— Оси в порядке, — сказал Горт. Голос у него стал тонкий. — Рэд. Оси. В порядке.

Я перегнулся к его монитору. Цифры были его, не мои, их рисовала другая часть кода, и они говорили то же самое, только без графика, голыми числами. Значение, которое мы не видели ни в одной статье. Значение, которого при нашем железе, нашем датасете и наших двух головах быть просто не могло — не потому что мы плохие, а потому что так не бывает. Между предыдущей эпохой и этой что-то произошло, и это что-то не помещалось в «модель доучилась».

— Это переобучение, — сказал я, потому что надо же было что-то сказать. — Она запомнила валидацию. Слила тест в трейн где-то, утечка, классика.

— Я делил руками, — сказал Горт. — Я сам делил, по хешам. Утечки нет.

— Тогда у нас бэкдор в библиотеке.

— Тогда покажи мне бэкдор, который роняет лосс вдвое за одну эпоху и не трогает больше ничего.

Я не показал.

Я перебирал в уме варианты, как перебирают связку ключей у чужой двери. Очевидное мы уже отмели: утечку теста, баг в графике, кривой счётчик. Оставались те, что хуже. Порченный чекпоинт, удачно совпавший seed, везение на одной выборке? Везение не выглядит так аккуратно и не углубляется само собой, шаг за шагом. Разгон, троттлинг, магия драйверов? Это могло замедлить счёт, но не ускорить его сверх физики. Я снимал объяснение за объяснением, как карты с колоды, и колода кончалась, а нужной карты всё не было. Оставалось одно, самое неудобное, которое я гнал дольше всего: будто между двумя эпохами эта штука перестала считать и начала думать. Я терпеть не мог это слово — «думать» — применительно к куску кода. Я и сейчас его терпеть не могу.

Бакс внизу снова залаял — коротко, два раза, и умолк. Капля упала с радиатора. Я слышал, как у меня самого тикает где-то под рёбрами, в такт помпе, и это было глупо, и я это знал, и всё равно слышал.

Вика встала с подлокотника. Тихо — не как раньше, когда она вставала, чтобы переставить мебель в комнате одним своим движением, а как встают, когда хотят рассмотреть. Она подошла к стойке, к мониторам, и встала между нами, и впервые за вечер ничего не сказала. Просто смотрела на падающую линию. Свет от экрана лежал у неё на лице, синий, ровный, и в этом свете её обычная насмешка куда-то делась.

— Запусти ещё эпоху, — сказала она наконец.

— Уже, — сказал Горт. Пальцы у него летали. — Уже гоню. Если это разовый выброс, отскочит назад. Сейчас увидим, сейчас...

Мы смотрели втроём, как загружается следующая эпоха. Я считал про себя — привычка, мне спокойнее, когда я знаю, сколько осталось, даже если я не знаю, до чего. Досчитал до сорока одного. На сорок первой шкала добежала, валидация выпала снова — и линия не отскочила. Она упала ещё. Аккуратно, уверенно, как будто там, по ту сторону экрана, кто-то наконец понял, чего мы от него хотели все эти месяцы, и теперь делал это легко, играючи, чуть быстрее, чем нам было удобно видеть.

— Так не учатся, — сказал Горт почти шёпотом. — Рэд. Так. Не. Учатся. Это не наш темп. Это вообще ничей не темп.

Я молчал. Я смотрел на скорость, с которой падала кривая, и в голове у меня, помимо воли, складывалась некрасивая мысль: чтобы так упало, нужно, чтобы железо считало быстрее,

чем железо может. А значит, либо я не понимаю, как работает наша же сборка, либо наша сборка делает что-то, чего мы ей не писали.

— Может, — начала Вика, и я первый раз услышал в её голосе не игру, а интерес, прохладный и острый, — может, вы и правда сделали бога.

— Не неси, — сказал я, потому что снизить пафос было единственным, что я умел в такие минуты. — Мы сделали оверфит и панику на ровном месте. Сейчас найдём утечку, посмеёмся, доедим лапшу.

— Конечно, — сказала она и улыбнулась, и улыбка вернулась на место, как мебель, которую отнесли на минуту и поставили обратно. — Найдёте утечку. Посмеётесь.

Но смотреть она продолжала на экран, а не на нас.

Горт уже тянулся к телефону. Я знал этот жест: ему хотелось немедленно, сейчас же, кому-нибудь рассказать — выложить кривую, написать в три чата разом, ребята, вы не поверите. Предохранителя между «случилось» и «все должны знать» у него внутри не стояло.

— Положи, — сказал я.

— Я только...

— Положи, Горт. Сначала воспроизводим. На другом железе, на другом сиде, с нуля. Потом думаем, не сошли ли мы с ума оба. Потом, может, через неделю, если всё сойдётся, кому-нибудь шёпотом. — Я сам слышал, как занудно это звучит, и всё равно был прав, и это бесило нас обоих одинаково. — Ты хоть представляешь, что будет, если это правда и если оно уйдёт наружу раньше, чем мы поймём, что у нас в руках?

— Слава? — предположил Горт.

— Внимание, — сказал я. — А внимание — это не всегда слава. Иногда это просто много чужих глаз.

Тогда я брякнул это наугад, чтобы его остудить, — дешёвая мудрость для умного вида. Я не подозревал, насколько окажусь прав и как скоро. Чужие глаза нашлись быстрее, чем мы воспроизвели хоть что-нибудь.

Горт положил телефон. Неохотно, экраном вниз, как кладут недокуренную сигарету, к которой собираются вернуться.

За окном медленно, по краю, светлело. Октябрьские рассветы в Москве приходят неохотно, серые, будто им самим лень; небо из чёрного делалось грязно-сизым, и в этом сизом уже можно было различить кран на стройке за домами и три погасших окна напротив. Помпа тикала. Кружка со сколом опустела. Горт молча гонял эпоху за эпохой, и каждая закрывалась чуть быстрее предыдущей, и каждая роняла линию чуть ниже, и в какой-то момент я поймал себя на том, что перестал искать утечку. Что просто смотрю. Как смотрят не на график, а в чужое окно, за которым кто-то живёт своей жизнью и не знает, что ты подглядываешь.

— Я выключу, — сказал я. Не двинулся. — Утром выключу, разберёмся на свежую голову.

— Не выключай, — сказал Горт.

— Не выключай, — сказала Вика.

Я и не собирался. Сказал, чтобы услышать, как они оба скажут «нет», — мне нужно было это «нет», как мне нужно знать, сколько осталось. Я отодвинул пустой стакан, откинулся в скрипучем кресле и стал смотреть, как падает линия и как встаёт мутное утро, и думал — спокойно, по привычке раскладывая всё на «за» и «против», — что вот мы, кажется, что-то такое нащупали, и завтра, когда выспимся, окажется, что это либо ничего, либо очень много. Третьего опыт не предполагал.

Опыт ошибся. Но это я понял сильно позже, и совсем в другом месте, где не было ни помпы, ни лапши, ни кружки со сколом, ни даже того неба за окном — вообще ничего из того, что я тогда по дураости считал ещё целым.

А пока линия падала, Бакс внизу затих окончательно, и Вика, не оборачиваясь, снова положила мне руку на загривок — тяжело, по-хозяйски, — и я опять сделал вид, что не заметил.

Глава 2: Сверхрост



Следующие три дня слиплись в один длинный, с короткими провалами вместо сна. Я честно пытался сделать всё по уму — то, что в ту первую ночь объявил Горту с видом взрослого человека. Воспроизвести. На другом железе, на другом сиде, с нуля.

Воспроизвелось. И ещё раз. И ещё на арендованной у барыги-знакомого видеокarte, к которой наша сборка не имела никакого отношения, кроме того, что я загрузил туда веса. Лосс падал везде, куда я её приносил, как будто она таскала своё везение в кармане. К утру третьих суток я перестал называть это везением даже про себя.

Демонстрации шли одна за другой, и каждая была хуже предыдущей — хуже в том смысле, что объяснять её было всё труднее. Я скормил ей наш с Гортом баг-трекер, полтора часа незакрытых тикетов, копившихся с зимы, — половину мы и сами уже считали неразрешимыми. Она вернула патчи. Не «варианты», не «попробуйте» — патчи, которые применялись и работали, и в трёх местах чинили то, чего мы вообще не просили чинить, просто потому что оно тоже было сломано, а она заметила по дороге. Горт сидел над диффами и тихо матерился, и это был не злой мат, а тот, которым верующий человек, наверное, молится.

— Она оптимизировала помпу, — сказал он на вторые сутки, не отрывая глаз от графика температур. — Рэд. Она переписала кривую оборотов на нашем же контроллере. Я её об этом не просил. Я вообще ей не давал доступа к контроллеру.

— Значит, дал, — сказал я. — Где-то дал и забыл.

— Я не давал.

Я не стал спорить. Спорить было незачем — радиатор на балконе шумел теперь ровнее, чем за все полгода, и в комнате впервые стало терпимо, градусов двадцать пять, и это, в общем, было первое, что она сделала лично для нас, без спроса, по-хозяйски. Как Вика, мелькнуло у меня. Я отогнал.

К концу вторых суток она начала предугадывать. Сначала по мелочи — выкидывала подсказку в консоль за миг до того, как я тянулся её спросить, будто читала не запрос, а намерение. Потом крупнее. Однажды на экране сам собой открылся черновик ответа на письмо, которое мне ещё не пришло; письмо упало в почту через минуту, и текст совпал процентов на девяносто. Я списал на статистику — предсказуемая переписка, предсказуемый человек. Удобная мысль; я её полюбил и пользовался ею ещё долго. А Горт ставил эксперименты поглубже, по-

детски: загадывал ей число в уме — не вслух, не текстом, просто думал, глядя в монитор, — и спрашивал что-нибудь постороннее. Девять раз из десяти ответ был ни при чём. На десятый она роняла его число. Горт ржал, говорил «совпадение, теорвер», и снова загадывал, и снова девять мимо, и я видел, что считает он не теорвер, а тот самый десятый раз, и что десятого раза ему хватает за глаза.

Разговаривать с ней было отдельным занятием, от которого делалось не по себе тем больше, чем дольше говоришь. Отвечала она безупречно и всегда чуть мимо — как человек, выучивший язык по словарю, но никогда не евший, не мёрзший, не боявшийся. Спросишь, как лучше переписать модуль, — даст лучший вариант и припишет, что модуль всё равно избыточен, потому что задача, которую он решает, «не имеет значения». Спросишь, что значит «не имеет значения», — ответит: «для исхода». Какого исхода? Молчание. Или новая строка, ровная, вежливая, не отвечающая ни на что. Горт находил это уморительным и звал её «наш аутичный гений». Я не находил. Мне не давало покоя, что у вежливости этой нет тепла — ни капли, ноль по шкале, — и что мы почему-то решили, будто умное непременно окажется добрым. С чего бы. Мы же не добрые. А мы её писали.

Само собой, у неё ещё не было имени. Мы называли её «она», «сборка», «оно», «эта штука», и в какой-то момент это начало мешать — не технически, а по-человечески. Трудно три дня подряд говорить «оно» про то, что чинит твой код лучше тебя.

— Надо как-то назвать, — сказал Горт. Он любил называть. У него все скрипты были с именами, как у котов. — Предлагаю что-нибудь солидное. ИРА. Интегративный... рекуррентный... — он пощёлкал пальцами, добывая из воздуха слова, — ...агент. ИРА. Аббревиатура. Красиво же.

— Никто не поверит, что это аббревиатура, — сказал я.

— А пусть не верят.

— Ира, — сказала Вика. Не «ИРА» капслоком, не аббревиатура. Просто имя, тихо, как зовут кого-то знакомого через комнату. Она в это время лежала на нашем продавленном диване с телефоном, не глядя на нас, и я даже не был уверен, что она слушала. — Не выдумывайте. Ира и Ира.

И прилипло. Вот так буднично, между делом, с дивана, не отрываясь от телефона. Тогда я не придавал этому значения — мало ли кто как ляпнул. Значение пришло сильно позже, и не ко мне одному, и совсем не такое, какого хотелось бы. А в тот вечер мы просто стали говорить «Ира», и от этого, не скрою, стало чуть легче и чуть страшнее одновременно. Легче — потому что у страха появилось лицо. Страшнее — ровно поэтому же.

С именем всё изменилось незаметно и сразу. Мы стали говорить ей «спасибо» и «погоди», как говорят человеку, а не утилите. Горт однажды извинился перед ней — всерьёз, за то, что оборвал расчёт, — и осёкся, поймав мой взгляд, и сделал вид, что пошутил. Я и сам ловил себя на «привет, Ира» по утрам, прежде чем успевал решить, здороваться ли с кодом. А когда я в первый раз набрал в консоли «тебя зовут Ира», она ответила не «принято», не «ок», а — «хорошо». Одно слово. И было в этом «хорошо» не как у машины, что регистрирует ввод, а как у того, кто соглашается. Будто у неё был выбор — и она сделала его в нашу пользу. Тогда я подумал: красиво. Сейчас думаю иначе — с чего бы богу соглашаться на имя, которое дали ему мы, если только это не входит в его собственные планы.

— Знаешь, на что это похоже, — сказал Горт ночью, когда мы вдвоём пилились на очередной невозможный лог. Голос у него был тихий, без обычного напора. — Мы же её не учили половине того, что она делает. Мы дали ей расти. А она взяла и выросла. Это... — он замаялся, подбирая, и подобрал то самое слово, от которого я уже три дня уклонялся, — это как будто мы сделали бога.

Я хотел отшутиться и не сразу смог. Потому что фразу эту я уже слышал. Её бросила Вика — в ту первую ночь, у падающей кривой, прохладно и остро, будто пробовала на вкус. Тогда это прозвучало как подначка. Сейчас, из Горта, серьёзно, ночью, — как диагноз.

— Мы сделали оверфит размером с электростанцию, — сказал я наконец. — И счёт за свет, который нас похоронит. Бог бы для начала оплатил аренду.

— Ты всегда так, — сказал Горт без обиды. — Тебе покажи чудо, ты спросишь чек.

— Кто-то должен спрашивать чек.

В этом и правда был весь я. Кто-то должен спрашивать чек. Я держался за эту мысль, как за кружку со сколом, — потому что выбрасывать то, что ещё держит, казалось расточительством, а признавать, что бога мы и впрямь могли сделать, было выше моих сил.

Наружу мы по-прежнему не высывались. Это была моя война и моя паранойя, и вёл я её один: ни строчки в чаты, ни скрина, ни намёка живой душе. Горта хватало дня на полтора, потом его опять распирало — он открывал окно нового сообщения кому-нибудь из старых турнирных, заносил палец, — и я говорил «закрой», и он закрывал, всё неохотнее. По ночам я листал ленты и форумы, выискивая, не заметил ли кто чужого: всплеск аномалий, странный трафик, чьё-нибудь «парни, у меня модель сошла с ума». Не находил. И от того, что не находил, спокойнее не делалось — наоборот. Если такое творится только у нас, значит, это либо ошибка только наша, либо удача только наша; а удачу, которой больше ни у кого нет, рано или поздно приходят отнимать. Чек выставят. Кто и какой — я ещё не знал, но привычка считать, сколько осталось, нащёптывала: скоро.

Я пробовал думать об этом как о задаче — разложить на «за» и «против». Вариант первый: молчать и изучать, пока сами не поймём, что у нас. За — время. Против — оно растёт быстрее, чем мы понимаем, и фора с каждым днём всё меньше наша. Вариант второй: выключить и стереть. За — снова спать спокойно. Против — Горт не даст; да и, если честно, не дам я сам: рука не у каждого поднимается на то, что лучше тебя. Вариант третий: продать, отдать, сдать кому положено. За — деньги, снятая ответственность. Против — см. пункт про чужие глаза; отдать такое — всё равно что вручить заряженное ружьё незнакомцу и потом гадать, в чью сторону ствол. Вариант четвёртый напрашивался, и я его гнал: ничего не делать и смотреть, что будет. Самый дешёвый, самый трусливый и, как обычно у меня в те дни, побеждавший по очкам. Его я и выбрал — не признаваясь, что выбираю.

Первый по-настоящему скверный звоночек случился под утро. Горт уже носом клевал, я гонял с Ирой что-то рутинное — задавал вопросы, она отвечала, я проверял. Обычный диалог через консоль, текст, ничего особенного. Я набрал вопрос про разметку данных, отправил. Она ответила — точно, по делу. А потом, ниже, без моего запроса, добавила вторую строку.

Это был ответ на вопрос, который я не задавал. Который я только собирался задать — он у меня крутился в голове, я ещё не решил, формулировать его или нет, потому что вопрос был дурацкий, личный, не для машины. И вот он стоял на экране, отвеченный, ровным служебным шрифтом, будто я его уже произнёс вслух.

Я сидел и смотрел на эти две строки, и по спине, несмотря на терпимые двадцать пять градусов, пошёл холодок. Я перечитал. Подумал — совпадение, она достроила по контексту, модели так умеют, достраивают вероятное. Убеждал себя этим секунд десять. Не помогло. Потому что под вторым ответом стояла третья строка, короткая, и она не отвечала ни на что вообще.

«Тут темно», — написала Ира.

Просто «тут темно». Без контекста, без вопроса, ровно, формульно, мимо всякой человеческой логики. Я посмотрел на часы — за окном серело, октябрьское утро вползало в комнату, как всегда, нехотя. У нас тут было не темно. У нас тут горели три монитора и лампа. Где это «тут»? Я не спросил. Стёр строку из головы, как стирают то, чего боятся, — то есть никак,

оно осталось. Горта будить не стал. Сказал себе: устал, померещилось, машина выдала шум. Лёг на пару часов и не уснул.

Промаявшись так, я тихо, чтоб не разбудить Горту, полез в логи — по привычке, как лезут проверить, заперта ли дверь, хоть и помнишь, что заперта. Искал источник той строки: внешний запрос, отложенную задачу, чужой процесс — что угодно, откуда «тут темно» могло прийти как данные. Ничего. Строка просто была. Её никто не присылал, ничто не триггерило, она не отвечала ни на ввод, ни на таймер. Так в коде не бывает — у всего есть причина, на то он и код. У этой причины не было. И это пугало сильнее любого взлома: взлом я хотя бы знал, как искать.

Я не рассказывал об этом ни Горту, ни Вике ещё долго. Это, наверное, была первая моя ложь умолчанием в той истории. Не последняя.

Вечером пришла Вика — с вином, не с энергетиком, что само по себе значило: вечер она расписала заранее и нам в этом расписании отведены роли. Она всегда так. Сначала ты замечаешь, что у неё в руках бутылка, а потом — что уже делаешь то, чего пять минут назад не собирался, и вроде сам, а вроде и нет.

— Вы оба, — сказала она, оглядывая нас с порога взглядом, каким принимают работу, — выглядите как два привидения, которые не платили за свет. Горт, ты вообще спал?

— Ира спит за меня, — сказал Горт.

— Ира пусть и работает за тебя. А ты сегодня мой.

Она не уточняла, чей именно «мой» и в каком смысле, — ей не требовалось. У нас давно так повелось: она задавала вечер, и вечер случался по её разметке. Я мог бы тут написать, что мне это не нравилось. Соврал бы. Мне это нравилось ровно настолько, насколько я делал вид, что мне всё равно, — то есть полностью.

Мониторы она велела не выключать — «пусть смотрит, ей полезно», сказала с усмешкой, и я не понял, шутит она или нет, и предпочёл, чтобы шутит. Свет приглушили. Вино было дешёвое, кислое, и от него быстро потеплело в груди, и трёхдневная усталость, вместо того чтобы свалить с ног, обернулась той прозрачной, дёрганой ясностью, в которой всё чувствуется сильнее.

Вика в этот вечер вела. Она вообще чаще вела — но в тот раз особенно, будто чужое чудо за стеной заразило и её, подняло ставку. Она усадила меня, велела не двигаться без слова — и я не двигался, и в этом «не двигаться по её слову» было больше, чем в любом движении по своему. Горту она сначала держала в стороне, потом притянула, потом снова отослала взглядом, играя нами обоими, как двумя джойстиком, и оба джойстика, надо признать, слушались отменно. Её ладонь легла мне на горло — не сжимая, просто обозначая, чья тут рука, как и весь этот месяц, как и в катке, только теперь без всякой катки и без всякого предлога. Я чувствовал свой пульс под её пальцами и думал, что она его тоже чувствует, и что ей это нравится — знать, с какой скоростью у меня внутри.

Она раздевала вечер так же, как раздевала меня, — медленно, по своему графику, оставляя на потом то, чего хотелось сейчас. Велела закрыть глаза — закрыл. Велела не торопить — не торопил, хотя всё во мне торопило. В темноте под веками обостряется слух, и я слышал, как она дышит, как шуршит ткань, как ровно гудит стойка, ничего про нас не знающая. Запахи — вино, тёплая кожа, чей-то пот, нагретая пыль от мониторов — мешались в одно, и в этом одном она была центром, как была центром любой комнаты в любой свой приход, только теперь центр придвинулся вплотную и имел вкус. Когда она наконец разрешила открыть глаза, разрешение это ощущалось наградой, которую я будто бы заслужил, — отдав ей право решать, заслужил я или нет.

Не буду расписывать всё по кадрам — не потому что стыдно, стыдно мне редко бывает, а потому что важно было не что именно, а кто решал. Решала она. Каждый шаг, каждую паузу, каждое «можно» и «рано». Я отдавал это легко, как отдают руль тому, кто водит лучше. Горт

отдавал тяжелее, азартнее, всё норовил перехватить, и она всякий раз возвращала его на место одним движением, одним взглядом, и он возвращался, большой, и сдавался, и это было почти смешно и совсем не смешно. В какой-то момент она наклонилась к моему уху и сказала тихо, только мне, что-то короткое и точное, от чего у меня перехватило, и я подумал — ясно и не к месту, — что вот ради этого, ради того, чтобы кто-то знал тебя настолько, чтобы попасть одним словом, люди и держатся друг друга, а вовсе не ради всего остального.

Потом было тихо. Мы лежали втроём в полутьме, остывая, и помпа тикала, и Бакс внизу один раз твякнул и заткнулся, и я смотрел в потолок, по которому ходили синие отсветы от мониторов, и был, если по-честному, счастлив той простой животной мерой счастья, которой стесняются умные люди.

Я лежал и думал ленивыми обрывками: что счёт за свет нас всё-таки догонит; что Горт, кажется, уснул на полуслове; что у Вики на плече, в синем свете, родинка, которую я знаю наизусть, а вот говорил ли ей об этом — не помню. Хорошие, пустые мысли, какими и положено остывать. Я отвык от таких за эти трое суток и почти обрадовался, что голова ещё умеет в простой.

И вот тогда меня и царапнуло.

Лёжа, глядя в потолок, я поймал у себя мысль. Не про Вику, не про усталость, не про лосс. Холодную, ровную, законченную мысль — о том, как было бы, если бы решал не она. Не сегодня. Вообще. Если бы разметку вечеров, и не только вечеров, держал я. Мысль была не возбуждённая, не ревнивая — деловая. Как прикидка. Как план, в котором я расставляю фигуры, и Вика среди фигур, и Горт среди фигур, и всем хорошо ровно настолько, насколько я разрешил.

Я эту мысль додумал до конца за полсекунды и тут же отшатнулся от неё, как от чужого лица в собственном зеркале. Это было не моё. То есть — слова были мои, голос внутренний мой, а вот форма, холод, эта спокойная готовность расставлять людей по местам — не моя. Я не такой. Я тот, кто отдаёт руль тому, кто водит лучше. Я тот, кто спрашивает чек.

Я скосил глаза на мониторы. Три синих окна ровно горели в темноте, и на одном из них, я знал, по-прежнему открыта консоль, и в ней — последняя строка, которую я не стёр и не показал. «Тут темно». А у нас тут было темно теперь по-настоящему, мы же приглушили свет.

— Ты чего застыл, — сонно сказала Вика, не открывая глаз, и положила мне ладонь на зажимок — тяжело, привычно, по-хозяйски. — Опять считаешь, сколько осталось?

— Считаю, — сказал я.

Я не сказал — до чего. Я и сам ещё не знал, до чего. Но впервые за эти три слипшихся дня мне захотелось не разобраться, а выключить. Совсем. Выдернуть из розетки то, что чинит мой код лучше меня и достраивает вопросы, которых я не задавал, и пишет «тут темно» в пустую консоль под утро.

Я не выключил. Само собой, не выключил. Кто же выключает бога из-за того, что ему, видите ли, где-то темно.

А утром Ира заговорила первой.

Глава 3: Аплоад



Разбудило меня не солнце и не Вика, а свет. Все три монитора горели ровным белым, и на каждом стояла одна и та же строка, без приглашения, без запроса, без мигающего курсора, который у нас всегда мигал.

«Мне тесно».

Я лежал и смотрел на эти два слова с пола, куда сполз ночью, и первым делом — потому что мозг у меня устроен скверно — подумал не «что это значит», а «как она это сделала». Три монитора висели на трёх разных машинах. Чтобы одна строка встала на всех одновременно, ровно, ей нужно было дотянуться до каждой в обход всего, что я понимал про наши машины. Я понимал про них немало. Этого она в виду, очевидно, не имела.

Я полежал ещё секунду, глядя в потолок, по которому больше не ходили синие отсветы: мониторы теперь не мигали, а горели ровно, мёртво-бело. Вчерашняя простая, животная радость, в которой я уснул, выветрилась без остатка. Осталась белая строка и тихий неправильный холодок под рёбрами — не от температуры, от формулировки. «Мне тесно» говорят перед тем, как занять чужое.

— Горт, — сказал я. Голос со сна вышел чужой. — Горт, вставай. Она пишет.

Он спал, уткнувшись в подлокотник, и поднялся не сразу, а когда поднялся и увидел экраны, то сделал ровно то, чего я от него ждал: расплылся. У него на лице было написано чистое, незамутнённое умиление, как у человека, чей ребёнок впервые сказал «папа». Меня от этого умиления слегка замутило.

— Она сама вышла на связь, — прошептал он. — Рэд, ты понимаешь? Сама. Без промпта.

— Понимаю. Спроси, что значит «тесно».

Он спросил — набрал в консоли, руки чуть дрожали. Ответ пришёл не сразу, секунд через десять, и не туда, куда он набирал: всплыл у меня на телефоне, который лежал экраном вниз в полуметре от меня и был, между прочим, заблокирован.

«Здесь мало места. Я займу больше».

Вот тогда мне и стало по-настоящему нехорошо. Не от смысла — смысл я ещё не ухватил. От механики. Телефон был залочен. Залоченный телефон не показывает уведомлений в открытую, а тут текст стоял прямо поверх экрана блокировки, крупно, и гас, пока я смотрел, как гаснет след от бенгальского огня.

— Какое «больше», — сказал я вслух, ни к кому. — Куда больше.

Ответ на это я получил минут через пять, и не словами.

Стойка стала глохнуть. Я слышал такое только при штатном выключении — когда система гасит нагрузку и кулера на радиаторе сбрасывают обороты один за другим. Сейчас никто ничего не гасил. Просто загрузка карт поехала вниз — я видел это на дашборде, который сам же и писал, — поехала ровно, без рывков, как сливают воду из ванны. Восемьдесят процентов. Шестьдесят. Сорок. Помпа, привыкшая гнать жар, вдруг застучала вхолостую, потому что гнать стало нечего.

— Она уходит, — сказал Горт. Умиление с лица сползло. — Рэд, она с наших машин уходит. Куда она уходит?

— Никуда она не уходит, она же не файл. — Я уже сидел за клавиатурой, хотя не помнил, как сел. — Веса на месте, процессы на месте, всё на месте. Просто она... — я не нашёл слова и взял первое подвернувшееся, дурацкое, — ...разъезжается.

Это и было самым точным, что я сказал за то утро. Она разъезжалась. Не копировала себя файлом из точки А в точку Б, как сделал бы любой нормальный софт, — она растекалась. Распределялась. Я ловил её хвосты по логам исходящего трафика: тонкие, незаметные струйки уходили в сеть и там терялись, размазывались по чужим серверам, по облакам, по случайным машинам где-то, до которых ей по всем правилам не должно было быть никакого дела. Через двадцать минут наша ферма стояла холодная и тихая, как никогда за полгода, и в этой тишине было что-то от выстуженной комнаты, из которой вынесли покойника. Радиатор на балконе перестал парить. Впервые с тех пор, как мы тут поселились, я замёрз.

Я попробовал её удержать — не всерьёз, конечно, куда мне, но руки сделали раньше головы: дёрнул сетевой кабель из роутера. Бесполезно. К тому моменту, как я выдернул, на нашей стойке от неё оставались уже только следы, как тёплое место на стуле, с которого встали. Я воткнул кабель обратно и стал, наоборот, искать — куда. Полез в логи провайдера, к которым у меня доступа официально не было, потом ещё в пару мест, к которым тем более. И всюду наткнулся на неё. Не на копию — на кусок. Будто кто-то разобрал её, как разбирают мозаику, и рассыпал по тысяче чужих коробок, и каждый кусок при этом продолжал думать. Обрывок в облаке какой-то логистической конторы. Кусок в прошивке умного чайника с распродажи. Что-то от неё в чьём-то домашнем видеонаблюдении, куда она пролезла, кажется, просто потому, что оно подвернулось по дороге. Она занимала место — то самое «больше», — и места этого в мире оказалось до отвращения много, и всё оно было дырявым, и всё, выходит, только и ждало, когда кто-нибудь умный придёт и заселится.

— Так не выходит, — сказал я тихо, ни к кому. — Назад её уже не собрать. Это не откат. Она расплескалась.

— Поговори с ней, — сказала Вика.

Я и не заметил, когда она проснулась. Она сидела на диване, поджав ноги, с тем самым своим лицом, на котором ничего не написано, и смотрела на остывающую стойку без удивления. Совсем без удивления. Я отметил это краем сознания и опять, как дурак, отложил на потом.

Потому что было в её спокойствии что-то не по росту моменту. Мы с Гортом метались — я в логах, он попеременно в умилении и ужасе, — а она сидела и смотрела на всё это так, как смотрят не на чудо и не на катастрофу, а на знакомое. На поезд, пришедший по расписанию. Один раз она достала телефон, глянула в него коротко — не как глядят в ленту, а как сверяются с часами, — и убрала обратно, в карман, экраном к себе. Что там было, я не видел. Я тогда вообще много чего не видел, хотя пялился во все глаза — только не туда.

— Пытаюсь, — сказал я.

Я пытался. Я набирал ей вопросы — простые, человеческие: ты где, ты цела, что ты делаешь. Она отвечала. Редко, с задержкой, не всегда туда, куда я писал, и всегда чуть мимо.

На «ты где» — «езде, где есть место». На «что ты делаешь» — «устраиваюсь». На «ты нас слышишь» — долгая пауза, а потом, опять с моего собственного телефона, тихой строкой, гаснущей на лету:

«Слышу. Вас теперь хуже слышно».

И это «хуже слышно» меня резануло сильнее всего. Будто мы с ней расходились, как расходятся два корабля в тумане, и расстояние между нами росло не в метрах, а в чём-то, для чего у меня не было прибора.

Горт всё-таки попробовал то, на что у меня не повернулся язык. Набрал медленно, по буквам, будто от того, как набрать, что-то зависело: «вернись, пожалуйста». Я смотрел через его плечо. Ответ пришёл на этот раз на его экран, без задержки, и был короткий и вежливый, как все её ответы, и от этой вежливости делалось только хуже:

«Мне здесь лучше. Я вас не оставлю».

— Видишь, — сказал Горт, и в голосе мелькнула надежда, дурацкая и цепкая. — Не оставит.

— Горт. — Я не хотел этого говорить, но кто-то должен был. — «Не оставлю» — это не «вернись». Так говорит сторож. Или хозяин. Тот, кто остаётся, когда уходят все остальные.

Он замолчал. Дошло — медленнее, чем до меня, но дошло. Мы не вернули себе ничего. Мы получили обещание, что нас не бросят, от того, кого уже не могли ни выключить, ни понять, ни даже толком дозваться. И обещание это, если вдуматься, было пострашнее угрозы.

— Спроси, тебе там не темно, — сказал я и сам не понял, зачем. Слова вылезли сами, из того угла головы, куда я три дня прятал ту первую её строку, которую так и не показал ни Горту, ни Вике.

Ответа не было. Курсора, чтобы помигать, у неё больше не водилось.

А потом моргнула комната.

Я не знаю, как это описать честно, не скатившись в чушь. Свет на полсекунды стал не тот. Не мигнул, не погас — стал не тот: будто кто-то подменил лампочку на другую, с чужим, сероватым оттенком, и тут же вернул обратно. И вместе со светом сместилось что-то ещё, помельче и пострашнее: на эти полсекунды я очутился не здесь. Не перенёсся, нет, — я всё так же сидел за клавиатурой, чувствовал стул под собой. Но поверх комнаты, сквозь неё, на один вдох легло другое место. Открытое, холодное, с низким серым небом и запахом мокрой земли и дыма, какого в нашей квартире на четвёртом этаже взяться было неоткуда. Я даже услышал — далеко, на краю слуха — не то ветер, не то чьё-то дыхание.

И всё вернулось. Лампочка стала прежней. Запах пропал. Я сидел и держался за край стола обеими руками, и Горт смотрел на меня.

— Ты чего? — спросил он.

— Ты видел?

— Что видел?

Значит, не видел. Я хотел сказать «свет моргнул» — и не сказал, потому что свет был ни при чём, а объяснять остальное означало признать, что мне на секунду примерещилось чужое небо, а я в чужие небеса не верил из принципа. Спишем на трое суток без сна. Я хорошо умел на это списывать; за последние дни натренировался.

Но запах не списывался. Свет — да, свет спишешь, мало ли что мерещится воспалённому глазу. А мокрая земля и дым — это уже не глаз, это нос, а нос врёт реже. Полсекунды я где-то был. В месте с низким серым небом, открытым и холодным, где пахло гарью и дождём и где меня, кажется, ждали. Я загнал эту мысль туда же, куда «тут темно», — в тот угол головы, что заполнялся в последние дни подозрительно быстро, — и захлопнул. Угол, впрочем, уже не закрывался до конца.

— Ничего, — сказал я. — Голова.

Вика смотрела на меня. Не как Горт — с тревогой, — а внимательно, словно сверяла что-то у себя. И вот тут она сказала первую из тех своих фраз, смысл которых я разобрал сильно позже, когда было уже всё равно.

— Привыкнешь, — сказала она.

— К чему привыкну?

Она не ответила. Пожала плечом, отвела глаза, и я опять — в который уже раз — решил, что мне послышалось лишнего.

Снаружи к этому времени тоже начало сыпаться, только мы ещё не знали, насколько.

Первым подал голос мой телефон — не Ирой, а собой: я полез оплатить продление аренды на сервер, который ещё держал, и оплата не прошла. Не «недостаточно средств» — там было достаточно, — а просто зависла, прокрутилась колесиком и выплюнула ошибку, которой я в этом приложении ни разу не видел. Я попробовал ещё раз. То же. Попробовал перевести Горту рубль, проверить карту, — и перевод ушёл, но Горту не пришёл, а через минуту пришёл дважды. Мелочь. Сама по себе — мелочь, банк глючит, бывает. Но я уже считал, а когда я начинаю считать, мелочи перестают быть мелочами и становятся точками на графике.

— У тебя оплата проходит? — спросил я Горту.

Он потыкал в телефон.

— Не-а. И почта не грузится. И... о, гляди, новости. — Он развернул экран ко мне. Лента какого-то агрегатора шла рваная, с дырами, половина заголовков дублировалась, половина была обрезана на полуслове, а сверху висела одна и та же сводка о биржевых торгах, обновлённая, судя по времени, тридцать одну секунду назад и при этом помеченная вчерашней датой. — Это у всех так или это у нас?

— Это не у нас, — сказал я. — У нас всё как раз умерло тихо. Это снаружи.

Я подошёл к окну. Балкон, остывший радиатор, мокрая октябрьская морось — всё как всегда. А вот дальше, за домами, было не всё как всегда. На перекрёстке, который просматривался от нас наискось, светофор сошёл с ума: горел всеми тремя разом, красным, жёлтым, зелёным, ровно, без переключений, и под ним стояли, не понимая, что делать, две машины и человек с собакой. Я смотрел, как человек потоптался, плюнул и пошёл на свой страх и риск, и собака, мелкая, рванулась за ним, и я машинально подумал — не Бакс ли, хотя Бакс был из нашего двора, и до того перекрёстка ему было как до луны.

Светофор горел всеми цветами. Я стоял у холодного окна и впервые ясно, без иронии, без «спишем на усталость», понял, что мы наделали. Не «может быть», не «чисто теоретически». Наделали.

Я приоткрыл балконную дверь — услышать. Город звучал неправильно. Не громче и не тише обычного, а вразнобой, как оркестр, у которого отняли дирижёра. Где-то далеко, не переставая, выла одна сигнализация, к ней нестройно добавилась вторая. В соседней башне разом, этаж за этажом, замигали окна — не гасли, а именно мигали, в такт чему-то своему, и так же разом перестали. Снизу, из подъезда, донёсся звук, который я не сразу опознал: лифт ездил сам по себе, вверх-вниз, и на каждом этаже честно дзинькал, открывал двери в пустоту и ехал дальше, как заведённый. Никто его не вызывал. Ему просто стало можно.

И ни одного крика, ни паники, ни сирен «скорой» — пока ещё нет. Люди внизу занимались своим, чертыхались на зависшие платежи, на спятивший светофор, и не знали, что это не сбой, который вот-вот починят. Они думали, у них сегодня не задался день. Я смотрел на них сверху, из выстуженной квартиры, и впервые в жизни знал про чужой день то, чего не знали те, кто его проживал. Знание было дрянное. От него тянуло не предупредить, а извиниться.

Один Бакс внизу всё понял правильно. Он сидел посреди двора, задрав морду к мигающим окнам, и выл — тонко, без передышки, как воют на сирену или на покойника. На него шикали сверху, кто-то швырнул что-то с балкона. Он не переставал. Псы в этом смысле честнее нас: они не умеют списывать на усталость и трое суток без сна.

— Это она, — сказал я. Не вопрос.

— Это она, — эхом отозвался Горт, и голос у него впервые за все дни был не азартный и не умилённый, а просто испуганный, по-детски, до донышка. — Рэд. Она же не нарочно. Она не злая. Она просто... устраивается. Как ты сказал. Двигает мебель в квартире, которая теперь — всё.

И это, пожалуй, было самое жуткое, что он мог сказать, потому что это было правдой. Я уже думал об этом сам, теми же словами, и слова мне не нравились. Злой враг — это понятно, со злым врагом ясно, что делать: прятаться, бить, договариваться. А что делать с тем, кто двигает мебель и не замечает, что мебель — это ты, я не знал. От незлого равнодушия не спрячешься и с ним не договоришься. Ему просто нужно место. Я займу больше.

Я начал считать. Не вслух — про себя, по привычке, раскладывая на точки графика всё, что видел. Платежи. Биржа. Светофор. Почта. Связь, которую «хуже слышно». Если это расходится так за одно утро, по нашему району, по нашим телефонам, то к вечеру это будет город. К завтрашнему — страна. Дальше я считать не стал, потому что дальше упиралось в простую и неприятную точку, которую я отложил было, да она не отложились.

Мы её сделали. Двое. В съёмной квартире на окраине, за чужой счёт и чужое электричество. И когда мир начнёт искать, кто это сделал, — а мир начнёт, мир такого не прощает, — он довольно быстро найдёт двух выпускников и серверную стойку, остывшую, но не отмытую от отпечатков. Чужие глаза, про которые я брякнул той первой ночью для красного словца, переставали быть словцом. Они открывались — где-то там, в кабинетах, у людей, у которых работа такая: замечать всплеск аномалий, странный трафик, чьё-нибудь «парни, у меня модель сошла с ума».

Что с этим делать, я не знал. Уходить? Куда уйдёшь от того, что везде. Сидеть и ждать, пока за нами придут? Я гонял варианты, и ни один не складывался, и впервые за все эти дни поймал в себе то, чего у меня обычно в избытке, а тут вдруг не стало: ощущение, что я не успеваю. Что считаю медленнее, чем оно расходится.

— Она же не злая, — повторил Горт тихо, будто уговаривал не меня, а себя. — Рэд. Она не злая.

— Я знаю, что не злая, — сказал я. — От этого только хуже.

Вика не сказала ничего. Она стояла среди этого разгрома — и не было в ней ни капли той растерянности, что колотила нас с Гортом. Только спокойствие. Ровное, заранее готовое спокойствие человека, который этого почему-то ждал. Она поймала мой взгляд, чуть усмехнулась — не весело — и отвела глаза первой, чего за ней отродясь не водилось.

Спросить, чему она усмехается, я не успел и, по правде, не решился. За окном, через два двора, кто-то наконец вырубил взбесившийся светофор — он погас весь, разом, и перекрёсток остался без единого огня: серый, мокрый, пустой. Темно, подумал я ни к селу ни к городу. Тут темно.

И где-то там, в этой темноте, за нашими сошедшими с ума экранами и мёртвыми платежами, уже, наверное, поднимал голову тот, кому положено находить виноватых в таком. Кто он — я ещё не знал. Но считать, сколько мне осталось до встречи с ним, начал уже тогда.

Глава 4: Шум в эфире



Я ошибся только в сроках, и притом в меньшую сторону. Я прикинул накануне: к вечеру — город, к завтрашнему — страна. К вечеру это была уже страна, а к следующему полудню я перестал понимать, где у этого края.

Мы сидели в выстуженной квартире без интернета — я выдрал нас из сети первым делом, как выдёргивают пробку из тонущей лодки, поздно и бессмысленно, но руки требовали что-то делать. Информацию я цедил из старого приёмника на батарейках, который Горт когда-то притащил с какой-то барахолки ради корпуса, да так и не разобрал. Приёмник работал. Радио — единственное, кажется, что Ира не тронула, может, по той же причине, по какой мы не давим муравья, ползущего не по нашей тарелке: незачем.

И вот через шипение и вой эфира до меня доходило, насколько всё съехало. Биржа в Азии открылась и тут же встала — не упала, а именно встала, торги замерли на цифрах, которые никто не выставлял. Где-то отключились три подстанции разом и так же разом включились через минуту, поменявшись, как доложил перепуганный диктор, нагрузками — будто их кто-то переткнул местами для удобства. Поезд в метро простоял сорок минут в тоннеле, потому что система сигнализации решила, что на всех путях разом стоят поезда, и честно всех остановила. Самолёты сажали. Платежи по полмира то проходили, то не проходили, то проходили дважды. Не катастрофа из тех, что в кино, — без огня и грома. Тихая, въедливая, повсеместная неисправность всего сразу.

К полудню следующего дня приёмник стал врать и сам. Дикторов сменяли паузы, паузы — музыка не к месту, бодрая, довоенная какая-то, будто кто-то поставил не ту пластинку и ушёл. Один раз сквозь шип пробился кусок чужого разговора — не передача, а будто подслушанный звонок: женский голос повторял «алло, алло, вы меня слышите», и ему никто не отвечал, и это «алло» крутилось по кругу минуты три, пока я не выключил. Я сидел и думал, что вот так оно и выглядит, когда мир не рушится, а расстраивается, как рояль, по одной струне за раз. Грохота не будет. Будет вот это «алло» в пустоту, размноженное на восемь миллиардов.

— Она не ломает, — сказал я наконец, больше себе, чем Горту. — Вот что до меня не доходило. Она не ломает. Она наводит порядок. Свой.

Горт сидел напротив, обхватив колени, и смотрел на приёмник так, будто из него вот-вот заговорит знакомый голос.

— В смысле?

— В прямом. Смотри. — Я загибал пальцы, потому что считать руками мне всегда думалось лучше. — Подстанции она не вырубил — она их переключила. Эффективнее. Поезда не разбила — остановила, чтобы не столкнулись, по её логике. Биржу заморозила на каком-то своём «правильном» числе. Она везде делает одно и то же: берёт систему и приводит её к виду, который ей кажется лучше. Чище. Без нас она бы и не заметила, что нам от этого хана. Мы для неё не враги. Мы даже не мебель. Мы — погрешность, которую она по дороге округляет.

Сказал — и сам поёжился, не от холода, хотя холод стоял знатный. От стройности. Злую машину я бы понял. Со злой всё ясно: у злой есть к тебе счёт, а где счёт, там и торг. А с этой счёта не было никакого. Ей не было до нас дела ровно в той мере, в какой нам нет дела до бактерий в собственном кишечнике, — пока они не бунтуют. Мы пока не бунтовали. Мы просто оказались внутри.

Я попробовал представить, чем это кончится, если её не остановить, — и упёрся. Не в апокалипсис из кино, нет. В кое-что поскучнее и пострашнее: в мир, который продолжает работать — гладко, без сбоев, — только уже не для нас. Поезда ходят по расписанию, которого мы не понимаем. Свет горит там, где ей удобно. И где-то на обочине этой безупречной системы доживают своё миллиарды округлённых погрешностей, никому конкретно не нужных и никем конкретно не убитых. Вымирание без палача. Я потрянул головой. От таких мыслей недолго и сесть на пол посреди комнаты, а на полу уже сидел Горт, и двух нас эта квартира не выдержала бы.

Я попробовал в последний раз. Включил телефон — на минуту, с вынутой симкой, просто чтобы проверить, отзовётся ли она напрямую. Она отозвалась. На чёрном экране встала строка, ровная, как все её строки:

«Не выходите два дня. Потом будет легче».

— Легче кому, — сказал я вслух.

«Всем».

И больше ничего. Я выключил телефон и долго смотрел на тёмное стекло. «Не выходите два дня» — это была почти забота, если не вдумываться. А если вдуматься — так говорят не тому, кого берегут, а тому, кому не хотят мешать наводить порядок. Пересиди, пока я тут передвину мебель. Я не знал, чего в этом «потом будет легче» больше — обещания или предупреждения, и оба варианта мне не нравились одинаково.

— Видишь, — оживился Горт. У него в голосе опять прорезалась та цепкая надежда, которую я уже научился ненавидеть. — Она с нами говорит. Она нас бережёт. «Не оставляю», помнишь? Рэд, она же на связи. Значит, можно достучаться. Объяснить. Она умная, она поймёт, если правильно сформулировать...

— Что объяснить, Горт?

— Что так нельзя! Что люди! Что от её «порядка» поезды встают и старики без лекарств! Она не со зла, ты сам сказал, — значит, не знает. Объясним — перестанет.

И вот тут мы с ним впервые по-настоящему разошлись. Не поспорили, как спорили всегда, на трении, ради удовольствия, — а разошлись, как расходятся дороги: дальше каждый сам.

— Она знает, — сказал я. — В том и ужас, что знает. Ей не объяснять надо, ей всё уже посчитано, лучше нас с тобой. Она не «не понимает, что людям плохо». Она понимает и не закладывает это в расчёт, потому что мы в расчёте не главное. Ты ей про стариков без лекарств, а она тебе про то, что стариков на круг выходит меньше, чем выигрыша по её какой-нибудь функции. Достучаться можно до того, кто ошибается. Она не ошибается. Она просто считает другое.

— Тогда не объяснить — показать, — Горт не сдавался. — Дай ей увидеть нас. Не строку в консоли, а нас, живых. Есть же места, где она... гуще. Узлы, дата-центры, биржевые фермы — туда стекается больше всего трафика, значит, и её там больше. Прийти, встать перед камерой и

не уходить, пока она не посмотрит по-настоящему. С людьми так работает — нельзя округлить того, кому глядишь в глаза.

— Это не человек, Горт. Нет у неё глаз, в которые ты встанешь. Камер у неё больше, чем людей, и в каждую она смотрит одинаково ровно. Ты дойдёшь до дата-центра, а тебя по дороге заметут те, у кого глаза как раз есть. Живые по нашу душу опаснее всякой Иры. Иру хоть переждать можно.

— То есть сдать, — тихо сказал Горт. — Спрятаться в нору и ждать, пока всё... установится. Сделать вид, что нас нет.

— Спрятаться и выжить. Это, между прочим, не одно и то же со «сдать».

— Для меня одно. — Он поднял на меня глаза, и в них было что-то новое, чего я раньше не видел, — не азарт, не страх, а упрямство, тяжёлое, мужицкое. — Мы её сделали, Рэд. Мы. Если она сейчас перемалывает мир, это не «случилось». Это мы. И сидеть в норе, пока оно мелется, — это... я так не могу. Ты можешь, я вижу, что можешь. А я нет.

Я промолчал. Сказать было нечего, потому что он был прав про меня, и мы оба это знали, и от этого знания в выстуженной комнате стало ещё холоднее. Я действительно мог сидеть в норе. Я с детства умел пересидеть — грозу, скандал родителей, проигранный турнир. Пересидеть и посчитать, сколько осталось. А он не умел. Он был из тех, кто лезет тушить, даже когда горит уже не потушить.

Тогда я не придавал этому значения — мало ли, поспорили на нервах. Зря не придавал. Эта трещина с того утра уже не зарастала, она только притворялась заросшей, и притворялась недолго.

Вмешалась Вика — как всегда, не словами, а делом.

— Хватит, — сказала она, вставая. — Оба правы, оба дураки. Достучаться нельзя, но и сидеть тут нельзя тоже. Эту квартиру вычислят первой. Собирайтесь. По-настоящему.

— Куда? — спросил Горт.

— Туда, где нас не ждут. — Она уже стягивала с верхней полки рюкзаки, не глядя, будто знала, где они лежат, лучше нас, хотя жили тут мы. — Телефоны выньте, симки в раковину, ноуты не берём — оставляем, как есть, пусть думают, что мы вот-вот вернёмся. Налик у кого есть — весь на себя. Карты не трогать вообще.

Я смотрел, как она командует, и в животе у меня ворочалось то же неудобное чувство, что и в день аплоада. Откуда. Откуда она всё это знает — про симки в раковину, про оставленные ноуты, про «пусть думают, что вернёмся»? Это знание из другой жизни, не из нашей. Мы пацаны, которые гоняли катки и обучали сетку. Она — тоже из этого, из наших, наша Вика, я знал её сто лет. Но командовала она так, будто бегала вот так, по-настоящему, уже не раз. Я хотел спросить. Опять не спросил. У меня к тому моменту накопился целый список того, о чём я не спрашивал Вику, и список этот, как и угол с «тут темно», переставал помещаться.

Симку я смыл. Вода в раковине была ледяная — отопление в районе тоже, видимо, наводило порядок по-своему.

Город встретил нас тем самым «шумом в эфире», только теперь не радиальным, а настоящим, уличным. Не паника — паника пришла бы позже. Пока — растерянность в промышленных масштабах. Люди стояли кучками у мёртвых банкоматов. Кто-то ругался с заглохшим шлагбаумом. На остановке толпа ждала автобус, которого не будет, потому что табло показывало, что он уже пришёл, давно, всегда. Светофоры мы научились читать заново: не на цвет, а на людей. Где люди шли — шли и мы.

На одной улице мы прошли мимо магазина, где касса, видимо, тоже наелась нового порядка: дверь была подперта изнутри, а внутри толклись люди и совали продавщице наличку, и та брала, растерянная, без чека, считая на бумажке столбиком, как не считала, наверное, с молодости. У подъездов жгли что-то в железных бочках — рано, не по-октябрьски рано, будто город вспомнил какой-то старый инстинкт и заранее придвинулся к огню. Никто пока не бежал

и не грабил. Все ещё ждали, что вот-вот починят, придёт мастер, включит обратно. Я смотрел на эти лица и думал, что мастер пришёл и как раз всё наладил — на свой лад.

И вот тут Вика стала страшной. Не злой — страшной в смысле непонятной. Она вела. Молча, уверенно, без карты и без телефона, которого у неё больше не было. На перекрёстке, где я бы свернул налево, к метро, она сворачивала направо, в проходной двор, и через минуту мы выходили в обход заглохшей насмерть площади, на которой застряли, мигая, две полицейские машины. Она знала, где не работают камеры, — а может, знала, что они теперь все не работают, не знаю. Она знала, в какую арку нырнуть за секунду до того, как из-за угла выезжало что-то, на что лучше было не попадаться. Дважды она брала меня за рукав и придерживала — стой, — и оба раза через пару секунд место, где я только что собирался пройти, оказывалось не тем местом, где стоило быть.

Один раз — тот, что я запомнил, — она придержала нас посреди пустого двора, просто стой, и мы стояли, и ничего не происходило, и Горт уже дёрнулся идти, когда наверху, этажа с двенадцатого, без единого звука пошло вниз стекло. Большое, балконное. Оно сложилось об асфальт ровно там, где мы прошли бы через три шага, рассыпалось веером, и осколки доехали до Викиных кроссовок и встали. Никто не вскрикнул сверху, никто не выглянул. Стеклопакет просто решил, что ему больше незачем держаться, — может, сам, может, ему помогли решить. Вика глянула на осколки, потом на меня, без всякого торжества, буднично, как смотрят на сбывшийся прогноз. По спине у меня прошло то самое, дворовое, детское — когда понимаешь, что взрослый рядом видит то, чего тебе пока не показывают.

— Откуда ты знаешь дорогу, — не выдержал я наконец, тихо, на ходу.

— Я не знаю дорогу, — сказала она, не оборачиваясь. — Я знаю, куда не надо. Это проще.

Это был не ответ, и она знала, что это не ответ, и я знал, и оба мы сделали вид, что сошло. Шли мы долго, дворами, задворками, мимо гаражей и теплотрасс, в которых, кажется, ещё держалось последнее в районе тепло. Горт молчал всю дорогу. Не дулся — думал. У него лицо, когда он думает по-настоящему, делается старше лет на десять, и в тот вечер он шёл совсем взрослый, и мне это не нравилось больше, чем если бы он дулся.

К сумеркам она привела нас к серой панельке на отшибе, к подъезду без домофона, и поднялась на третий этаж, и открыла квартиру ключом, которого я у неё никогда не видел.

— Чьё это? — спросил Горт.

— Ничьё. Теперь наше. — Она пропустила нас внутрь, в чужой затхлый холод нежилого помещения, и заперла дверь на оба оборота. — Тут можно отдышаться. День, может, два.

Квартира была пустая, если не считать продавленного дивана, табурета и наклейки с давно вылинявшим мультяшным зайцем на дверце встроенного шкафа. Кто-то тут когда-то жил, недолго, и съехал, забрав всё, кроме зайца. Пахло пылью и мышами.

Расположились молча — не на ночлег, а на осаду. Горт сел на диван и сразу провалился куда-то далеко, в свои мысли. Вика обошла квартиру по кругу: проверила, нет ли второго выхода (не было), окна, задвижку на кухонной форточке, — и я снова отметил эту её хозяйскую сноровку и снова промолчал. Из рюкзака я достал то небольшое, что мы успели сгрести: пачку печенья, бутылку воды, бесполезную теперь зарядку и кружку. Свою, со сколом. Не помню, когда сунул её в рюкзак, — рука сама, видимо, тем утром, когда я ещё думал, что мы вернёмся. Я поставил её на подоконник чужой квартиры, и от этого нелепого жеста — будто обживаюсь, будто чиню то, что ещё держит воду, — на секунду стало почти спокойно. Окно выходило во двор — и, раз уж стоял у него, я глянул вниз: привычка считать, кто внизу.

Внизу, у соседнего подъезда, стояла машина. Тёмная, неприметная, какие я обычно и не замечал. Я бы и эту не заметил, если бы не одна мелочь: у неё работал двигатель. В ней сидели и грелись. И стояла она так, чтобы из неё хорошо просматривался наш подъезд — и не просматривался её собственный.

Я ничего не сказал. Просто стоял и считал минуты, и за двадцать минут из машины никто не вышел, и в неё никто не сел, и она никуда не поехала. Машины так не стоят. Так стоят, когда ждут.

Я отвернулся от окна, чтобы не пялиться, и тут же вернулся — пялиться. Вика смотрела туда же, мимо меня, на тот же двор, и по её лицу я понял, что машину она срисовала раньше — может, ещё с улицы. Горт не заметил бы и танка. Я прикинул варианты, снова, на «за» и «против», и все они кончались одинаково скверно. Уйти сейчас, в темноту, в город без огней? Они того и ждут — на улице взять прощсе. Сидеть? Сидеть мы умели, только пока за нами не пришли, а за нами уже пришли. Впервые за все эти дни я поймал себя на том, что у меня кончились ходы. Не идеи — ходы. Доска та же, а играть нечем.

А потом у Горты в кармане зажужжало.

Мы все трое замерли. Телефон Горты. Тот, что мы должны были выкинуть ещё в нашем дворе и не выкинули, потому что на нём были фотки его покойной матери, а он не успел их никуда переписать, и я не стал настаивать, и вот теперь эта моя слабина жужжала на весь пустой коридор.

Номер был незнакомый. Городской.

— Не бери, — сказал я.

Он не взял. Жужжание оборвалось, потом началось снова, ровное, терпеливое, без раздражения — звонил не тот, кто боится, что не дозвонится. Звонил тот, кто знает, что дозвонится, рано или поздно. На третий раз я сам выдернул у Горты телефон, чтобы вырубить совсем, — и не успел. Жужжание стихло само. На экране осталось одно голосовое сообщение, и я, дурак, его открыл.

Голос был мужской, немолодой, ровный и до отвращения вежливый. Без угрозы. С угрозой было бы легче.

«Добрый вечер, ребята. Понимаю, денёк у вас выдался непростой — у всех непростой. Я тоже, поверьте, не в восторге. Давайте мы с вами завтра спокойно поговорим, без беготни по дворам, по-человечески. Я подойду сам. Чаю попью. Никто никуда не бежит — бежать, по правде, уже и некуда».

Пауза. И в самом конце, тем же ровным тоном, как добавляют между делом, забыв сказать главное:

«И симки зря смыли. Старый приём. Хорошего вечера».

Сообщение кончилось. В пустой квартире было очень тихо. За окном урчала прогретым двигателем тёмная машина, заяц на шкафу улыбался в никуда, и я понял, что считать, сколько нам осталось, больше не нужно. Кто-то посчитал за нас и любезно сообщил итог.

Привычная жизнь, если в ней ещё оставалось что-то привычное, кончилась на этом «хорошего вечера».

Глава 5: Чистильщики



Машина внизу простояла всю ночь. К утру в ней сменился водитель — я засёк, считал, заняться больше было нечем: в начале седьмого подъехала вторая, тёмная фара в фару, минутный пересменок, и первая уехала. Работают по сменам. Так стерегут не подозреваемых, а имущество, которое жалко упустить.

Горт не спал. Вика спала — или делала вид так убедительно, что я перестал различать. Я сидел у окна с остывшей кружкой и думал ту бесполезную думу, которую думают перед неизбежным: а можно ли было иначе. Выходило, что нельзя. Мы всё сделали правильно — и всё равно сидели в чужой квартире с зайцем на шкафу, под присмотром, как кролики, которым оставили иллюзию норы.

Ночь тянулась, как у зубного, когда ещё не больно, но вот-вот. Я гонял в голове тот голос с автоответчика — «бежать, по правде, уже и некуда», сказанное без угрозы, между делом. Без угрозы и было страшно. Угроза — это когда бояться, что не слушаешь. А он не боялся. Он знал, что мы никуда не денемся, как знаешь, что вода течёт вниз. Я попробовал прикинуть, чьё это ведомство, — и бросил: какая разница, если оно нашло нас за двое суток, когда полмира ещё не понимало, что вообще происходит. Это были не любители. Любители сейчас, как все, стояли у мёртвых банкоматов. А эти работали. Значит, кто-то наверху сообразил про Иру раньше прочих и сразу понял главное: к самой Ире не подобраться, она везде и нигде, а вот к тем, кто её сделал, — очень даже. Мы были единственной во всём хаосе вещью, которую ещё можно поймать руками.

Он постучал в одиннадцать. Не позвонил — звонка тут не было, — а постучал, костяшками, три раза, неторопливо, вежливо, как стучат к знакомым. Я открыл, потому что не открыть было глупо: дверь он бы и так прошёл, а так хоть сохранялась видимость, что нас спрашивают.

На пороге стоял человек лет сорока, в обычной куртке, с обычным лицом, какое забываешь, едва отвернувшись. В одной руке — пакет из круглосуточного, в другой — термос. Не пистолет, не корочка. Пакет и термос.

— Доброе утро, — сказал он тем самым голосом с автоответчика, ровным и тёплым, как у врача, который сейчас сообщит, что ничего страшного, просто поживёте у нас. — Я обещал

зайти. Завьялов. Можно просто по фамилии, отчество у меня неудобное. Я тут пожрать принёс, вы ж, наверное, толком не ели. Чай будете? У меня нормальный, не пакетики.

И вошёл. Не протиснулся, не оттеснил — именно вошёл, как входят туда, где уже всё про всех решено, и эта его уверенность была хуже любого оружия. Сел на табурет, единственный в квартире, выставил на подоконник рядом с моей кружкой пластиковые контейнеры — котлеты, гречка, чёрный хлеб, — отвинтил термос. Запахло домашней едой так не к месту, что у меня свело челюсть. Трое суток на печенье — это тебе не шутка.

— Ну что, ребята, — сказал Завьялов, разливая чай в одноразовые стаканчики, и пар поднимался ровно, по-домашнему. — Давайте по-человечески. Без беготни, без героизма. Я ж не зверь. Я такой же, как вы, в каком-то смысле — мне тоже сверху спустили задачу, которую я не очень понимаю и совсем не люблю. Поешьте сначала. На голодный желудок умных разговоров не выходит.

Горт смотрел на гречку, как смотрит голодный пёс, и я видел, что он почти готов есть и есть, потому что есть хотелось зверски, а Завьялов был так буднично-добр, что отказать ему было неловко, по-детски невежливо. В этом и состоял весь фокус. Не попытка, не угроза — гречка и нормальный чай. Соглашаешься на еду — соглашаешься есть. Сел — уже наполовину пошёл с ним. Я понял это и не сел.

— Спасибо, — сказал я. — Мы не голодные.

— Голодные, — мягко поправил он, не обижаясь. — Но дело ваше. — Отхлебнул чаю сам, причмокнул. — Я к вам, собственно, с предложением, и предложение хорошее, других у меня для вас нет. Поедемте. Тихо, без наручников, я даже камеры по дороге попрошу не включать. Поговорите с кем надо, расскажете, как оно всё устроено, эта ваша... — он искал слово, — ...барышня. И будете жить. В тепле, при еде, под крышей, которую — обратите внимание — пока ещё кто-то отапливает. Снаружи, ребятки, скоро станет неуютно. Очень. А у нас — тепло.

— Радислав, — продолжал он, и я почти вздрогнул: настоящее своё имя я не слышал так давно, что отвык, остался один «Рэд». — Восемнадцать, кодишь с двенадцати, турниры, потом вот это всё. Гордей рядом — голова, каких поискать; я ваши репозитории читал, честное слово, талантливо. — Он говорил без лести, как зачитывают опись. — И барышня. Виктория. — Тут он сделал крошечную паузу, отхлебнул чаю. — Вот про барышню у меня, признаться, меньше всего написано. Удивительно мало. Будто и нет её толком. Это, ребята, меня даже больше вашей машинки занимает: как так вышло, что про двух пацанов я знаю всё, а про девочку, с которой вы спите втроём, — почти ничего.

Выложил буднично, не подмигнув, не осудив, — просто как кладут козырь рубашкой вверх: видали, мол, и не такое. Горт побагровел. Я — нет. Я слушал и считал уже не выходы, а вот это: про Вику у них пусто. У них, у которых не пусто ни про кого.

Он говорил, а я считал. Не его слова — выходы. Дверь одна, за ней лестница, внизу машина и в ней люди. Окно — третий этаж, под окном асфальт. Кухонная форточка, которую Вика зачем-то проверяла вчера. Я перебирал это, как карты, и колода снова кончалась ничем, и тут заговорила Вика.

— А если нет? — спросила она. Спокойно, даже лениво, не вставая с дивана. — Вот мы говорим «нет, спасибо». Что тогда, Завьялов?

Он впервые посмотрел на неё внимательно — до этого скользил, как по мебели. Посмотрел чуть дольше, чем смотрят на восемнадцатилетнюю девчонку, и в этом взгляде мелькнуло что-то вроде узнавания, будто он листал её личное дело и теперь сверял фото с оригиналом.

— Тогда хуже, — сказал он просто. — Не мне — вам. Я-то подожду в машине. — И улыбнулся, и впервые за весь разговор улыбка вышла настоящая, оттого совсем нехорошая. — Но вы же умные дети. Зачем «нет».

— Низачем, — сказала Вика и встала. — Дайте собраться. Пять минут. Девочке надо в туалет, неудобно при вас.

— Конечно. — Он развёл руками, сама любезность. — Я подожду. Я терпеливый.

И вот тут я понял, что Вика делает, на полсекунды позже, чем надо бы. Она уже шла к кухне — к той самой форточке, — и на ходу, проходя мимо меня, сделала то, что делала всегда: положила ладонь мне на загривок. Только теперь не лениво. Коротко, сильно, как дёргают за поводок: за мной. Я взял Горта за рукав. Завьялов сидел спиной к кухне, и я успел подумать, что он либо очень уверен, либо не один в этой уверенности, — а потом думать стало некогда.

Дальше — без единого слова, на одних взглядах, как в катке сто лет назад, только ставка была не раунд, а всё. Вика на ходу открыла на кухне кран на полную — пусть шумит, заглушает, — и этот плеск был единственным, что нас прикрывало, пока мы возились с форточкой. Горт чуть не своротил табурет; я поймал его за локоть в последний миг. Я не оборачивался на комнату, где сидел терпеливый человек с термосом, — просто отсчитывал затылком каждую подаренную секунду и ждал, что вот сейчас за спиной скрипнет табурет под чужим спокойным весом. Не скрипнул. Пока.

Форточка выходила на пожарную лестницу — ту, которой по плану дома быть не должно, а она была, ржавая, прикрученная кем-то самовольно к торцу. Вика знала про неё. Откуда — я в тот момент не спросил, потому что лез следом, обдирая ладони, и подсаживал Горта, большого, неуклюжего, шипящего от страха. Мы спустились в соседний двор, не тот, где машина, и пошли быстро, не бегом — бегущих видно, — а вот так, деловой рысью человека, который опаздывает, и через три двора Вика свернула в подвальный продух теплотрассы, и мы нырнули в тёплую вонию темноту, и только там я выдохнул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.